

# Содержание

ПОЗДНИЙ ЧЕЛОВЕК  
Предисловие  
Леонида Юзефовича  
9

КНИГА I  
13

КНИГА II  
313

ПОИСТИНЕ ВЫСТРАДАЛА...  
Послесловие  
651

В предсмертной тюремной записке прочел: "Fuius..." ("Мы были...")  
И еще прочел: "Fatim..." ("Таинственные силы действительности...")  
Из этой записки, как из зернышка, пророс этот роман.

Ю. ДАВЫДОВ

# ПОЗДНИЙ ЧЕЛОВЕК

Впервые я увидел Юрия Владимировича Давыдова в 1978 году, в моей родной Перми. Его пригласило областное общество книголюбов, чем он был очень удивлен — в то время подобные организации не баловали Ю. В. своим вниманием. Вечером собрались у меня дома, и, помню, меня, провинциала, поразил его рассказ о том, как комендант Кремля Мальков сжег тело расстрелянной Фанни Каплан в бочке из-под бензина. Рассказано было в ответ на изложенную мною благостную легенду о милосердии вождя, который будто бы пощадил несчастную Фанни и сослал ее в Сибирь, где она прожила под чужим именем чуть ли не до наших дней, работая учительницей в сельской школе. Теперь тот давний короткий рассказ Ю. В. кажется мне типичным для его поэтики. Здесь не было ни хорошей Каплан, ни плохого Малькова, здесь были две трагические фигуры на скупо декорированной сцене, и они выступали из мрака при свете этой страшной бочки с бензином. Сам Ленин вообще отсутствовал, поскольку не представлял для Ю. В. большого интереса. Его интересовали тип тираноборца и тип хранителя устоев, странные психопатические отношения внутри таких пар, в которых оба члена время от времени меняются местами, а то, ради чего эти два типа вступали в вечный и неразрешимый конфликт, уходящий в глубину души каж-

дого из них, оставалось за скобками как некая скучная данность. Природа власти как таковой Ю. В. мало волновала. Не следует думать, что он, как многие из близких ему людей, всю жизнь посвятил пристрастному исследованию феномена российской государственности. Его занимала не сама по себе власть, а ее эхо, ее отражения, тени, призраки — тот мир, который только и может быть предметом искусства. Все прочее — публицистика. Ее Ю. В. не любил.

Его восхитительный юмор никогда не был злым и строился на сочувствии к непонятому благородству, к трогательной неуклюжести мужественных людей, попавших в чуждую и низкую стихию. Любимые герои Ю. В. — моряк на суше, старый дворянин в советском Ленинграде, любитель кошек на гауптвахте, боевой адмирал в лагере и т. п. С этим его юмором перекликаются живущие у меня в памяти две черты его внешнего облика: походка, при воспоминании о которой у меня до сих пор щемит сердце, такая она была характерная, стремительная и одновременно щегольски-мягкая, и то, что вне зависимости от погоды плащи, пиджаки и пальто на нем всегда были расстегнуты. Он ходил легко, обвеваемый собственной одеждой, и в этом было что-то такое, что соотносилось с его прозой, со скрытым в ней ритмом, чувством полета, поэтичностью. Тяжеловесное слово прозаик ничего в нем не объясняло.

Однажды он рассказал мне, как на его пятидесятилетнем юбилее Виктор Лихоносов сказал ему: “Что, Юра, быстро жизнь прошла?” Для Ю. В. это было ужасно слышать, потому что в то время он лишь подбирался к тому главному, для чего явился на свет. На протяжении двадцати с лишним лет, в течение которых я его знал и любил, в нем постоянно раскручивалась какая-то тяжелая пружина. Она была сдавлена условностями литературного общежития, временем, окружением и только в последние годы распрямилась окончательно. Он был поздним человеком. В этом было его горе, которое к концу жизни обернулось счастьем.

Он знал цену иллюзиям и умел платить ее сполна. В отличие от большинства литераторов, он не был протеистичен, в нем было мало женственного. Может быть, поэтому женские образы в его романах выходили не слишком яркими. Он был певец сильных страстей, мужского братства и той идеи, что нужно раствориться в чем-то большем, чем ты сам, если хочешь остаться самим собой. У него была не придуманная, а почти физиологическая потребность говорить голосами тех, кто уже ничего не может сказать в свое оправдание. На суде истории он всегда выступал в роли адвоката. Устами Усольцева из повести “Судьба Усольцева” он высказал свой главный жизненный принцип: “По совести, по мере возможностей отправляй свое ремесло. И счастливы будь тем, что оно позволяет тебе быть человеком, который протягивает руку другому человеку”.

*Леонид Юзефович*

# *Книга I*

# ГЛАВА ПЕРВАЯ

## 1

Спальня не прибрана, в столовой киснут обеды, на полу клозета клочок дамской записки: “Милый Гошенька...” Черт знает что! У тебя каждый нервик пляшет, ты страшное пережил, а тут Георгий Порфирьевич, “милый Гошенька”, кутежи закатывает.

Яблонский только что вернулся в Петербург. Ехал в первом классе, хорошо и покойно ехал, однако нет, не отдохнул. Какая-то странная потяготливость. Будто после болезни. Будто давно не мылся, не переменял белья.

Он встал у окна, вяло скрестил руки. Ну что ж, в Харькове оплачен крупный вексель. Очень крупный вексель, милостивые государи. И никакого удовлетворения. Напротив, теперь, когда все начато, уже мерещится проигрыш. Тут не капитал просадишь, а жизнью разочтешься.

В окне было нищенское небо, невнятный снег. Внизу, на дворе, дымилась помой. Шум улиц доносился глухо. Яблонский прежде любил Петербург, сейчас подумал: “Проклятый город”.

Он подошел к столу, безглаголиво оглядел остатки пиршества. Отыскал чистую чашку, плеснул в нее водки. Выпил,

морщась и вздрагивая. Он еще не завтракал. Но и водка не пробудила аппетита.

Нынче свидание с главным инспектором секретной полиции. Важность встречи Яблонский сознавал. Следовало о многом поразмыслить. А мысли были сбивчивые, пустячные, и он все ходил, слонялся из угла в угол.

## 2

Кабинет не домашний, не служебный — так, проходная комната. Повсюду вороха бумаг, даже на подоконниках. И высокие шкафы без всякого выражения, анонимные. Несколько дверей, за которыми тишина — ни шагов, ни голосов. И посредине, за письменным столом, крупный атлетический мужчина в сюртучном костюме, брюки новомодные, с лампасами, узкие. Крупный плечистый мужчина, из тех, у кого похмельно не трещит голова и поясницу не ломит после бессонной ночи.

В ребячестве, кадетом Георгий Порфирьевич страдал: с этой вот смешной фамилией далеко ль пойдешь?! Судейкин. Учитель истории трунил: “Судеек, брат, в черных волостях выбирали. Приказчиков, воевод не было, судеек-то и набирали из мужиков”. Кадет не верил. Он знал: Судейкины — дворянской крови, смоленские дворяне Судейкины. Но фамилия что тавро: лапотные, стало быть, дворяне. И мучился: с такой-то фамилией далеко ль пойдешь?

Однако пошел. Оттого, мол, язвили некоторые, что женился на дочери жандармского полковника. Это верно: женился на Верочке Гусевой, полковничьей дочке. Но ведь, ей-ей, совсем не тесть главная пружина. Нет, он сам, Судейкин, сумел глянуть на розыскное дело широко, не боясь риска. В Киеве ка-акие сюрпризы начальству! И взлет: в Санкт-Петербург пригласили, сперва во главе столичного сыска поставили, а после — бери выше — на



место особое, штатным расписанием не указанное, особое и единственное: инспектором секретной государственной полиции.

Правду сказать, поздногато хватились, господа. Среди бела дня убили императора Александра Николаевича, в столице, на виду. Да-с, а лошади-то целы. Судейкин улыбнулся.

(При мысли о роковом покушении на Александра Второго ему частенько вспоминался знакомый полковник Сокол. Теперь он в Архангельской губернии, а тогда сидел в Екатеринбурге. В воскресенье, первого марта, держал Сокол, как водится, банчок в Дворянском собрании. Вдруг телеграмма: одна бомба разворотила экипаж, другая — царя. Натурально, все цепенеют, гробовое молчание. А тут-то и разносится глас жандармского начальника: “Слава богу, лошади целы!”)

Время шло к одиннадцати. Судейкин не прикасался к бумагам. На круглом лице его, в светлых, с искорками глазах, прячущихся под широким нависшим лбом, во всей фигуре выражалось напряженное ожидание.

В одиннадцать ее покажут высшему начальству. Но вот вопрос: тебя пригласят ли, Георгий Порфирьевич? Толстой будет, Плеве будет, Оржевский. А тебя пригласят ли, Георгий Порфирьевич? Ведь прямая твоя заслуга. Разумеется, Яблонского тоже. Однако рассудить, так и Яблонский — твоя заслуга. Нет, это уж тут сразу высветится: пренебрегают иль не пренебрегают, ценят иль не ценят?

Отворилась одна из дверей, вошел Судовский. Рослый и тоже, как инспектор, крупный, племянник Судейкина, правая его рука — Николай Судовский.

Смущенно, как нехотя, взглянул на дядюшку.

— Ну, Коко? — спросил Судейкин.

Коко потупился.

— Та-а-ак, — протянул Судейкин, багровея. — Ну, хорошо, хорошо же...

### 3

Никаких ковров, никаких украшений. Ковры — гнездилище пыли; украшения отвлекают мысль. Служебное помещение должно быть чистым, как щека из-под бритвы.

Сухопарый сановник, бледнолицый, с поджатыми губами, вышагивал мерно. Его штиблеты тонко поскрипывали на паркетных половицах, где ни единой пылинки.

Никогда не мерцал он канительным серебром жандармских эполет. Никогда победительно не брякал серебром жандармских шпор. Никто не помогал ему как “родному человечку”. Уроженец Калужской губернии, “из обер-офицерских детей”, он всего достиг сам. Он слушал курс юриспруденции в Московском университете. Его плечи согнулись в прокурорских камерах Тулы и Вологды, Варшавы и Санкт-Петербурга. Ныне он действительный статский советник. Он кавалер орденов Святой Анны, Святого Владимира, Святого Станислава. Почти два года назад именным высочайшим указом ему всемилостивейше повелели быть директором департамента государственной полиции. Видит бог, его трудолюбие неиссякаемо, его служение безупречно, его принципы неколебимы. И вот благодарность: “Да, отличные убеждения, пока вы тут, а когда вас не будет, то и убеждения будут другими”.

Плеве, сухопарый, бледнолицый, с поджатыми губами, мерно вышагивал. Его штиблеты тонко поскрипывали.

С четверть часа назад в кабинет скользнул секретарь министра и доверительно нашептал о вчерашнем разговоре его сиятельства с государем императором.

Толстой ездил в Гатчину — очередной доклад. Доложив, заговорил о близости лета, о настоятельно необходимом отдохновении в рязанском монрепо, просил разрешить докладывать по Министерству внутренних дел директору департамента фон Плеве. Тогда-то, соглашаясь, государь и произнес: “Да, у него отличные убеждения, пока вы тут, а когда вас не будет, то и убеждения у него будут другими”.

И это сказано именно теперь! Теперь, после ареста той, кого император назвал “ужаснейшей женщиной”. Это сказано теперь, когда партия террористов, можно утверждать, разгромлена. Вот награда. Однако директор Плеве готов побиться об заклад, что подобные мысли внушены государю. Исполдволь, неприметно внушены. И внушены... Он на мгновенье останавливается. Его указательный палец как бы плывет в воздухе. Засим решительно отсекает нечто незримое. Исключено! Он, Плеве, слава богу, пользуется благо-расположением обер-прокурора Святейшего синода. Нет, не Константин Петрович Победоносцев сему причиную.

Пальцы барабанными палочками постукивают по сукну. Плеве покачивается на носках. Ему это приятно, в этом как бы предвестие ровности мыслей. А ровность мыслей очень нужна ему.

Вячеслав Константинович по гроб не простит генералу Оржевскому “тухлую рыбу”! Генерал в обществе позволил грубый, гадкий намек: дескать, директор полиции послушен любому веянию свыше — “тухлая рыба по течению плывет”. Но командир корпуса жандармов — недруг открытый. А государь не лишен житейской сметки и хулу из уст Оржевского вряд ли примет в расчет.

Длинные пальцы замирают на зеленом сукне. Они словно бы не принадлежат действительному статскому советнику. Его анемичные губы сжимаются еще плотнее, бледное лицо обретает цементный оттенок.

Итак?

Он резюмирует определенно и коротко. Он убежден, он твердо знает, чья это повадка. Вячеслав Константинович чувствует что-то вроде удовлетворения. Его удовлетворяет собственная логичность.

Часы показывают без пяти одиннадцать. Пора. Слабым движением правой руки он касается висков и выходит из голой комнаты — невозмутимый, прямой, безукоризненный.